

Евгений ДОЛМАТОВИЧ

ОКТАБРЬ

Повесть

Июньские зори, июльские полдни, августовские вечера — все прошло, кончилось, ушло навсегда и осталось только в памяти...

Рэй Брэдбери

1.

...И теперь только ветер гонял по асфальту утраченные воспоминания деревьев. Отдельные листья, правда, все еще сохранились на ветках, но висеть им так оставалось всего ничего. Скоро и они опадут, смоятся дождями, растопчутся ботинками прохожих, и лишь один-единственный усатый дворник будет обращать на них внимание, рано поутру размеренно шаркая метлой. А потом отойдет в сторонку, задымит сигареткой, при этом зорким прищуренным глазом следя за автостоянкой: вдруг где начальство объявится раньше положенного.

Бабочка любил наблюдать за дворником. Даже с тем учетом, что они не были друг с другом знакомы, этот сутулый, постоянно хмурый мужчина почему-то нравился Бабочке, казался добряком, скрывающимся под маской напускного недовольства. И вполне может быть, в целом мире лишь одному Бабочке было известно, что зимой, когда за ночь разыгравшаяся метель полностью заметала тротуары, дворник выходил на улицу с широкой улыбкой на обветренном лице и, растерев в огрубевших от многолетней работы ладонях свежевывающий снег, подолгу смотрел в синеву неба — до тех пор, пока щеки его не становились румяными от мороза.

Дворник любил зиму, и это объединяло их с Бабочкой.

Зимой не было боли. Да и зудело не так назойливо, потому что Бабочка меньше потел. Зима благосклонно относилась к его болезни, нежели жаркое лето. В этом-то и заключалась основная проблема, так как лето Бабочка тоже любил, рвался к нему со всей непосредственностью своей детской души и вместе с тем страшился его прихода. Ведь, несмотря на всю свою яркость, теплоту, звездные ночи и, конечно же, свободу, что таил в себе каждый новый летний день, лето приносило и разочарование. Болезненное и гадкое чувство, такое же, как осенняя грусть, наверное...

Евгений Игоревич Долматович родился в 1986 году в Ярославле. В 2008 году окончил Ярославскую военную финансово-экономическую академию. Публиковался в журналах «Номо Legens», «Урал», «Север», «Уральский следопыт», «Парус», «Опустошитель», «Крещатик», «Новый берег». Также есть публикации в сборниках «Очертания», «Аэлита/010», «Своими именами назовутся», «Город счастья». Член Союза российских писателей. Живет и работает в Ярославле.

2.

Буллезный эпидермолиз, или просто БЭ, — так звучал диагноз, превративший жизнь Бабочки в нескончаемый круговорот боли и отвращения к себе. С этим он жил вот уже десятый год и даже сумел приспособиться к своему положению, как и свыкнуться с тем, что боль никогда и никуда не денется. Это подтверждала и та телепередача, которую он смотрел как-то раз с родителями и в которой, выдавливая слезу у неподготовленного зрителя, рассказывалось о жизни некоего Джонни Кеннеди.

Как объяснил Бабочке лысый очкастый врач-дерматолог, БЭ являлось редкостным наследственным заболеванием, вызванным неким сбоем в генах, в результате чего в коже по всему телу (а частенько на глазах и во рту) происходили всяческие изменения, и она становилась очень хрупкой, болезненно реагирующей на любое прикосновение. Людей, страдающих от такого недуга, то ли в шутку, то ли всерьез называли бабочками. Кожа как пыльца на крылышках: дотронулся, и нет ее.

Бабочка пересказал все услышанное своему единственному другу Стекляшке, и с тех пор тот звал его не иначе как Бабочка. Возражать не было смысла. Нормальные дети из соседнего крыла и вовсе называли его неженкой или уродцем.

— У тебя еще относительно легкий случай, — заявил тогда доктор. — Встречаются и более тяжелые формы этого заболевания. Взять, например, *полидиспластический буллезный эпидермолиз*, при котором...

Дальше шел набор малопонятных слов, и Бабочка не особо к ним прислушивался. Вместо этого он внимательно смотрел в глаза своему лечащему врачу (одному из них: как и у остальных детей этого больничного блока, у Бабочки было несколько лечащих врачей, которые разглядывали его с интересом и некоей необъяснимой грустью) и обнаруживал там нечто гадкое. То были не какие-нибудь дурные мысли или, скажем, тщательно скрываемые проступки, вовсе нет. То была элементарная ложь. Как и все взрослые, доктор бессовестно врал. Он ловко заговаривал Бабочке зубы, когда тот задавал вопросы касательно своей болезни, и все слова доктора были насквозь фальшивы. Один сплошной треп, ведь на самом деле дерматолог понятия не имел, как лечить Бабочкино трудновыговариваемое заболевание.

А самое плохое, что и родители Бабочки это знали — в смысле, что БЭ неизлечим и доктора просто разводят болтологию.

Были и другие грустные вещи. Например, отец, который после недавнего инцидента боялся даже смотреть на Бабочку, постоянно отводил взгляд, поджимал губы, смущенно чесал затылок. Мать же неустанно вздыхала над своим единственным ребенком, через слово вспоминала Бога и напутствовала Бабочку еженощно молиться, выпрашивая у Всевышнего исцеления.

— Иисус мог излечивать калек, — утверждала мать, — просто приказывал им встать и идти. И они шли! И слепые видеть начинали! А ведь это дело такое, на всю жизнь! Так что и ты, Сашенька, проси у Боженьки, пусть обратит на тебя свой взор. Вдруг да случится чудо! Вдруг да избавишься ты от напасти своей!

И Бабочка молился. Каждый раз после отбоя, лежа в постели и слушая шепот ветра, шелест дождя или же стоны вьюги за окном, он закрывал глаза и читал молитву. «Отче наш...» — шептал он. И много позже, осторожно переворачиваясь с одного бока на другой — резкое движение, и кожа на спине стягивалась, ее нестерпимо жгло, а спустя какое-то время она вся покрывалась серыми пузырями, — Бабочка корил себя за то, что поленился и не встал на колени — не прочитал молитву как полагается. Разве Господь услышит, если обращаться к нему, развалившись на кровати, по самый нос закутавшись в одеяло и уже практически засыпая? Естественно, нет!

Но страшно было становиться на колени. Кожа там заживала мучительно долго, так же как на локтях или попе, мысли же о предстоящей боли пугали молниеносно.

И неважно, привык ли ты к боли или нет, новой волны страданий не хочется в любом случае.

— Ты, дружище, такой единственный на пятьдесят тысяч! — как-то раз усмехнулся один из врачей. Но усмехнулся не зло, а, наоборот, добродушно. Не так, как это делали дети из соседнего крыла — те наглые мальчишки с одиночными переломами или вывихами, тайком прибегавшие к палатам смотреть на местных уродцев. Нет. Доктор был добр и улыбчив, он ничего не скрывал и вовсе не ставил себе целью поддеть Бабочку или же покрасоваться перед медсестрами.

И Бабочке это льстило. Он — редкий! Проклятая болезнь со смешной аббревиатурой (БЭ — как звук, когда кого-то тошнит) сделала его по-своему исключительным. И в те нечастые дни, когда боли практически не было, прикусив язык от ужаса, он, позволяя медсестрам перематывать себя, наносить специальные кремы и мази на израненное, все в шрамах тельце, вскрывать волдыри и снимать шелушащуюся корочку, вспоминал именно об этой своей необычности, неординарности.

С открытием нового крыла в больнице стало гораздо лучше. Как понял Бабочка, те бесконечные представители всевозможных фондов помощи детям-инвалидам, которые на пару с неугомонными репортерами таскались к нему и к Стекляшке (а с появлением Горбуна и к нему тоже), все же добились своего. В новом крыле занимались изучением редкостных детских болезней, и в скором времени сюда планировали свезти больных из соседних регионов.

— Основная проблема заключена в том, что на современном этапе развития медицины врачи не то чтобы не знают, как лечить подобные заболевания, — смотрел Бабочка репортаж о самом себе (от чего гордился собой еще больше), — но и не в состоянии даже правильно их диагностировать. А ведь дети страдают!..

— Страдают? Ха! — буркнул Стекляшка. — Да что они знают об этом?!

Стекляшка сидел тут же рядом, в своем неизменном инвалидном кресле, неизменно насупившись и глядя куда-то в сторону. Он был худым, большеголовым и глуховатым мальчиком с синеватыми белками глаз. А когда он тихонько посмеивался над чем-то, то можно было увидеть его серые полупрозрачные зубы. Все это, как утверждал сам Стекляшка, из-за его болезни плюс много еще чего внутри, органы там всякие.

— Ну, они же видели нас, — пожал плечами Бабочка, сняв с руки перчатку и осторожно коснувшись одним пальцем другого: если надавить посильнее, подушечки пальцев слегка обожжет — этакая забава. Пузыри от этого вряд ли появятся, так как на пальцах и ладонях, да и на ступнях тоже, их практически никогда не было...

...Ногтей на пальцах, увы, тоже не было.

— Да толку-то, что видели? Э-эх... Ничего ты, балда, не понимаешь! Мы ведь для них как цирковые чудики! Они смотрят на нас и кочерыжками своими тычут. Совсем как те пацаны, из нормального блока которые. А потом все по домам разбегаются, друзьям рассказать.

— Ну не знаю, — передернул плечами Бабочка.

Стекляшка был из соседнего отделения; им занимались врачи-ортопеды, и его болезнь была не так редка, как Бабочкин БЭ. Всего лишь один на двадцать тысяч человек.

И в этом Бабочка тоже находил определенное удовольствие, зная, что заболевание Стекляшки в разы страшнее, а вместе с тем не такое уж оно и редкое.

3.

Как и Бабочка, Стекляшка явился в этот мир полуживым, буквально задыхающимся от нестерпимой боли. Он родился уже с многочисленными переломами, а не понимающие, в чем дело, акушеры лишь усугубили и без того плачевную ситуацию.

Его мать очень хотела ребенка, и Стекляшка был ее четвертой попыткой. В первых трех случаях беременность прерывали по медицинским показаниям. То же самое произошло и при четвертой беременности, но в этот раз на все советы и предостережения мать ответила категорическим отказом. Сделали кесарево, ребенок появился на свет с множественными переломами, и на протяжении нескольких дней врачи отчаянно бились за его жизнь.

Стекляшка выжил.

Первые годы своей жизни он вспоминал как сплошное марево из буквально осязаемой боли, густо перемешанной с образами уводящих в никуда больничных коридоров, залитых ослепительным светом палат, безликих людей в белых халатах, бессчетных сверкающих игл, всепоглощающего запаха лекарств, а еще — регулярными потоками материнских слез. Впрочем, может, то были лишь придуманные впоследствии ощущения? Как знать. Так или иначе, к своим девяти годам Стекляшка имел увесистую медицинскую книжку, в которой можно было отыскать такие жуткие слова, как «внутриутробная пневмония», «рахит», «анемия», «пупочная грыжа», «гипотрофия» и т. д. и т. п., сведения, как минимум, о пятидесяти пережитых переломах и страшный диагноз — несовершенный остеогенез, известный еще как болезнь Вролика. Стеклянный человек — так обычно называли людей с подобным заболеванием, называли по той причине, что кости таких людей были чрезвычайно хрупки.

Стекляшка не любил свое прозвище, но, оказавшись в этой новой больнице после очередного осложнения, быстро свыкся с ним. К чему кривляться, когда ты в окружении себе подобных? И пусть Бабочка может ходить и даже небыстро бегать — что с того? Вечно забинтованный, словно мумия из ужастиков, бледный, как тесто, пахнущий всякими кремами и лекарствами, боящийся даже дружеского похлопывания по плечу, он представлял собой не менее удручающее зрелище, нежели сам Стекляшка.

Так постепенно Стекляшка полностью смирился со своей участью. В противовес большинству детей-инвалидов, избалованных постоянной опекой, он рос крайне замкнутым, поглощенным собственными нелегкими думами и словно бы отрешенным от жизни. Он равнодушно смотрел на взрослых, на вечно рыдавшую мать, которая в нем души не чаяла, на прочую ребятню, посмеивающуюся над ним и как бы между делом предлагающую спустить его на коляске с лестницы, дабы поглядеть, рассыплется он на осколки или же нет.

Ходить Стекляшка не мог, зубы у него крошились, от чего постоянно приходилось торчать в кабинете у стоматолога, а левое ухо практически не слышало. «Годам к пятнадцати вовсе оглохну», — понимал он, наблюдая в окно за вольными птицами. В отличие от Бабочки, Стекляшка не любил осень. Осень можно было уважать лишь за то, что она несла в себе некое избавление: больше не надо было с тоской и завистью следить за соседскими мальчишками, гонящими во дворе мяч. Не нужно было видеть, как они прыгают, падают, пинают этот грязный мяч и, хохоча, толкают друг дружку. Ведь каждый раз, глядя на их игру, Стекляшка невольно испытывал восхищение, а вместе с тем и непреодолимый страх. Восхищение тем, каким на самом деле могло бы быть его тело: сильным, крепким, грациозным. И страх от того, что представлял себе, как вот он поднимется сейчас со своего кресла, разбежится и пнет по мячу, а может... может, даже подпрыгнет у ворот, ощутив грудью сильный удар пойманного мяча, а потом рухнет на землю. Но... не с улыбкой, как тот чумазый вратарь, а с гримасой. Рухнет прямо в яркую агонию, так как все его тело превратится в мешок, наполненный острыми осколками.

Так, лишенный незамысловатых физических радостей детства, Стекляшка много читал. В том числе и о своей болезни. Поэтому не был так глуп и доверчив, как Бабочка; не обращал внимания на ложь и ужимки врачей, как и на полные свербящей вины

и жгучего стыда глаза матери, которая попросту не умела врать. Он равнодушно кивал их обманам, думая о своем, скажем, о весне...

Да, весну Стекляшка любил, ведь она предшествовала лету. Как и прочие дети, он пусть и тайно, но все-таки ждал лета — ждал летнего волшебства, красок, аромата южного ветра, приносящего с собой романтику далеких стран и волнующую мистику неизведанных земель. Больше всего на свете Стекляшка мечтал стать путешественником. Он листал журнал «Вокруг света», буквально пожирая взглядом яркие фотографии тропических островов, таинственных карнавалов и непонятных обрядов, странных обычаев народов, населяющих далекие-далекие города. Он жаждал оказаться там, идти следом за весной, твердо ступая по земле. Он жаждал просто с силой сжать руку в кулак, ударить в стену, ощутив не болезненный треск ломающихся костей, но свою силу, свою ярость.

А ярости в нем накопилось немало.

Стекланный человек.

Беспомощное никчемное существо, на веки вечные прикованное к инвалидной коляске. И даже все эти физиопроцедуры, ежедневные массажи, занятия спортом со специальными преподавателями — все это лишь в очередной раз демонстрировало, какой он на самом деле слабый.

Какой хрупкий.

Какой жалкий!

И ночами, в полном одиночестве лежа в большой просторной палате, Стекляшка краем уха прислушивался к болтовне дежурной медсестры и врача в коридоре, следил за тенями в углах и мечтал, мечтал, мечтал...

4.

— К нам новенького везут, — как-то раз сообщил Бабочка.

— Еще один? Хм, нас становится больше, — зло усмехнулся Стекляшка, уставившись в телевизор, что притащили волонтеры из очередного фонда. — И что с ним не так?

— Не знаю. Слышал, что у него болезнь...

— Да ладно? А я-то было решил, что он полностью здоров.

— Это... снегерия у него.

— Чего?!

Бабочка весь сконфузился, прикусил губу и принялся осторожно почесываться, сделав вид, будто безумно этим занят. Впрочем, отчасти так оно и было. День нынче выдался солнечный, не такой, как обычные октябрьские деньки. Температура поднялась аж на семь градусов, и уже привыкший к осенней прохладе организм Бабочки незамедлительно отреагировал болезненным зудом. О вечерней ванне думать и вовсе не хотелось. Каждый такой поход заканчивался новыми язвами и ссадинами, новой болью.

— Снегерия? Такой болезни не существует, — назидательным тоном выдал Стекляшка.

— Ну-у... Тебе-то откуда знать? Ты что, самый умный, что ли? Раз доктора сказали снегерия, значит, снегерия.

— Да уж поумнее некоторых, — огрызнулся Стекляшка, щелкнув лентяжкой и переключив канал.

Показывали лыжные гонки где-то в Швейцарии. Худые спортсмены в смешных пестрых шапочках выделяли невероятные трюки, прыгали, вытянувшись, как пружина, стремительно набирали скорость, отталкиваясь от земли сильными крепкими ногами. Засмотревшись на них, Стекляшка и вовсе позабыл о Бабочке с его новостью.

— Докторам виднее! — напомнил тот о себе.

— Они, наверное, не это имели в виду.

— Именно снегерия. Так и сказали... — и тут Бабочка явно приуныл, — сказали, что случаев этой болезни всего около пятидесяти по всему миру.

Вся Бабочкина гордость моментально испарилась, и он тут же воспыал лютой ненавистью к тому ребенку, которого должны были скоро привезти.

— Снегерии не бывает, — вновь произнес Стекляшка. — Я читал, я знаю.

— Ты не можешь знать все, — злобно кинул Бабочка.

— Могу, — стоял на своем Стекляшка.

— Нет, не можешь, — и, не произнося больше ни слова, Бабочка с гордым видом направился к выходу из палаты.

— И куда ты собрался?

— Пойду к себе на этаж, погляжу хоть на этого новенького. Вроде бы его в мое отделение поместят.

— Иди-иди, заодно диагноз разужнай. Снегерия. Нет, ну надо же! — Стекляшка делано рассмеялся. — Болван ты, Бабочка.

Бабочка раздраженно хлопнул дверью, при этом всполошив дежурную медсестру.

5.

По степени уродства новенький мальчик вполне бы мог посоперничать с Горбуном. Бабочка стоял у стены и во все глаза разглядывал новоприбывшего, когда делегация из врачей и каких-то незнакомых людей в костюмах провела этого больного... снегерией ребенка в палату.

«Значит, со мной будет жить», — понял Бабочка, начесывая зудящий локоть.

Новенький мало походил на ребенка семи лет, скорее, был похож на сморщенного большеголового старикашку, очень худого, с тонкой серой кожей и крысиным лицом. Грустным отсутствующим взглядом он смотрел куда-то в окно, в то время как врачи о чем-то совещались, листали бумаги, вдумчиво вчитываясь в каждую строчку, и вообще — делали все то, что в таких случаях положено делать врачам. Пару раз кто-нибудь из них пытался заговорить с мальчишкой приторно-ласковым голосом. Таким же неправдоподобным, решил Бабочка, как рассказы Стекляшки о привидениях, якобы обитающих на его этаже. (Никаких привидений там и в помине не было, это Бабочка знал наверняка, ведь этаж едва после ремонта, да и само больничное крыло только открыли. Сколько об этом твердили в городских новостях! Сколько всевозможных взрослых побывало здесь за ту неделю, что Бабочка провел в этом блоке, а сколько их было до него! Так что нет там никаких привидений! А вот чудовища — это совсем другой разговор...)

Новенький мальчик, которого Бабочка уже успел про себя окрестить Старикашкой, выказывал полное равнодушие и к взрослым, и к больнице, и к осени за окном. Казалось, ничто в этом мире не интересует его. И отсутствующий взгляд его чем-то напоминал взгляд Горбуна, который содержался в отдельной палате на Стекляшкином этаже и был настолько страшным, что одна из медсестер, впервые увидев его, даже невольно вскрикнула. В глазах Горбуна поселились тоска и смирение. И не было там ничего больше — ни жизни, ни надежд. Днями напролет Горбун сиднем сидел на кровати и пялился в стену. Даже спал так. И вот точно такой же взгляд Бабочка теперь обнаружил у Старикашки.

«Что же с ним случилось?» — размышлял Бабочка.

— Синдром Хатчинсона—Гилфорда, да! — гаркнул один из врачей.

Бабочка уцепился за эти три малопонятных слова и, пока они окончательно не выветрились из его не в меру дырявой памяти, поспешил в комнату Алисы.

— Пименко, чего шастаешь тут?! — твякнула дежурная медсестра. — Взбучки захотелось? Тут сам главврач с начальником отделения, важные шишки из департамента, а ты бродишь как неприкаянный!

— Я к Алисе. На минутку, — отозвался Бабочка и прошмыгнул в дверь.

— Пименко! — крикнула ему вслед медсестра, но Бабочка предпочел ее не услышать.

В комнате Алисы, по обыкновению, было сумрачно. Сама же Алиса — хрупкая одиннадцатилетняя девочка с темными длинными волосами и неестественно бледной кожей — устроилась на кровати с ноутбуком на коленях.

— Привет. Слушай, поищи, пожалуйста, что такое... э-эм... эффект Гатчинсона и Клифорда.

— Ты чего приперся, Бабочка? Не видишь, занята я, хочу одна побыть! — нахмурилась Алиса и так зыркнула на Бабочку, что любой другой на его месте тут же бы ступешался. Бабочка же, напротив, ощутил жжение. Только в этот раз оно не было болезненным и не имело никакого отношения к коже. Нет, жжение было где-то внутри — в том самом закоулке души, где хранились величайшие тайны и заветные воспоминания. «Еще чуть-чуть, и она догадается!» — испугался Бабочка и поспешно отвел глаза.

— Алис, ну пожалуйста. Очень надо!

— Зачем? — Она продолжала изучать его внимательным взглядом.

Лицо у нее было худым-прехудым, кожа бледная-бледная, а на лбу и на подбородке виднелись шрамы. Нос же у переносицы раздут, словно бы на него нацепили кожаное кольцо, а глаза впалые, но... очень красивые. И когда Алиса улыбалась, а это случалось крайне редко, можно было разглядеть ее красноватые зубы. За это и за то, что она боялась света, Стегляшка называл ее Упырихой. Но у Бабочки язык не поворачивался так назвать эту девочку — самое прекрасное существо, которое он когда-либо встречал. Для него Алиса всегда была Алисой. Именно так и никак иначе! — с некоторым трепетом в голосе и полным смущения взглядом куда-нибудь в сторону, куда угодно, лишь бы спрятаться от ее пронзительно-прекрасных глаз. В такие моменты Бабочка радовался, что Алиса не любит свет и что в ее комнате постоянно сумрачно. А еще он радовался тому, что на щеках у него так и не прошли давнишние шрамы, заработанные во времена, когда он только учился ползать и нередко падал лицом прямо на грубую ткань; именно это спасало его теперь от естественной при смущении красноты.

— Так зачем? — повторила вопрос Алиса.

— Там новенького привели. Он страшнющий весь, сморщенный, как пришелец с планеты старикашек, — попытался пошутить Бабочка, но увидав, что Алиса не оценила шутки, поспешно продолжил: — В общем, сказали, что он такой один из... пятидесяти на всю планету! Вот и хочу узнать, что это за чудо-болезнь такая.

— М-да, — делано вздохнула Алиса. — Так что там за эффект?

— Гатчинсона и... этого... как его... Килфорда.

Какое-то время она молча стучала по клавишам своего портативного компьютера, и блеклый неоновый свет плясал на ее лице, от чего оно казалось еще бледнее.

— Нет ничего, — наконец сообщила Алиса.

— Такая редкая болезнь, видимо...

— Скорее, это ты, дурашка, что-то напутал.

Бабочка посмотрел на Алису и с удивлением обнаружил, что она улыбается. Сердце его растаяло.

Алиса была дочерью какой-то очень серьезной и вечно сердитой женщины, частенько выступавшей по телевизору. Отца у Алисы не имелось, а мать с утра и до позднего вечера названивала ей и изводила претензиями и вздохами разочарования. После таких звонков Алиса обычно была невероятно злая либо же тихо плакала, запершись

в своей комнате. И Бабочке очень хотелось утешить ее, приобнять, — и пофиг, что подобное оказалось бы крайне болезненным для него самого. Ради Алисы он был готов на все! И его нисколько не смущал тот факт, что при достаточном свете Алиса чем-то напоминала маленькую высохшую мумию, что она была вечно угрюма и неразговорчива, что ей не доставляло особого удовольствия наблюдать за происходящим на улице и что она люто ненавидела солнце, так как оно своими лучами запросто могло испепелить ее кожу. Бабочке даже было плевать, что ее болезнь гораздо реже, чем его собственная — в мире было зарегистрировано всего около двухсот подобных случаев. Алиса попросту не попадала в его классификацию, как, скажем, этот Старикашка со своим эффектом... Гитченсона и Халфорда, будь он неладен.

А еще Бабочка чувствовал некоторое родство по отношению к Алисе, так как считал, что их заболевания во многом схожи: на пару они страдали от «слабой» кожи, покрывались язвами, болячками и рубцами. Просто Алиса не могла переносить дневной свет, а Бабочка — прикосновения.

Именно поэтому было нестерпимо мучительно осознавать, что уже через неделю Алиса уедет в Германию, где в какой-то сверхсовременной клинике ей будут делать сложную операцию. И донора уже нашли... знать бы еще, что это такое? И если все пройдет гладко, Алиса станет самой обыкновенной девчонкой и, вполне естественно, тут же забудет и этот корпус, и Бабочку. Алиса станет такой же нормальной, как дети в соседнем крыле — те, что смеются и называют Бабочку уродцем, те, что тайком покуряют за углом здания, сидят на лавках в парке и глазают на небо, бегают и тычут друг друга в плечи и в грудь. Алиса станет здоровой, а он, Бабочка, так и останется калекой, ведь его БЭ неизлечим.

И потому где-то в самом укромном уголке души Бабочка желал, чтобы Алису не вылечили, чтобы она осталась такой же, как он, навсегда в этой больнице, навсегда рядом с ним. Рядом! Навсегда!

И за подобные «грешные» мысли ему было вдвойне стыдно, а порой и страшно...

— Да нет, именно так, — пробубнил Бабочка.

— Есть вот что, — сказала вдруг Алиса. — Синдром Ха-а-тчинсона—Ги-и-лфорда, известный так же, как детская про-ге-ри-я. Это?

— Про-ге-ри-я, — задумчиво повторил Бабочка. В этот момент он убедил себя, что ни в коем случае и ни за какие коврижки ни о чем не станет рассказывать вредному Стекляшке, тот и так весь зазнался уже. — Да, наверное, оно.

— Наверное?

— А точно не снегерия?

— Нет. В общем, слушай. Про-ге-ри-я... про-герия... прогерия, вот! — один из редчайших генетических дефектов. При прогерии возникают изменения кожи и внутренних органов, которые обусловлены преждевременным старением организма. Классифицируют детскую прогерия, синдром Хатчинсона—Гилфорда, и прогерия взрослых, синдром Вернера. Синдром Хатчинсона—Гилфорда, или по-другому Х-Г-П-С... был впервые описан в научном журнале доктором Джон-а-атаном Хатчинсоном в 1886 году и доктором Гастингс-с-оном Гилфордом в 1897 году, в Англии... Так, что еще? Ага! Причины прогерии. Вот! Девяносто процентов детей с прогерией имеют мутации в гене, кодирующем белок ла... ламин А... который обеспечивает о-форм-лен-ность ядра. Считается, что дефектный белок... ламин А де-е-формирует ядра клеток. Такая де-е-формация может привести к процессу преждевременного старения.

— Во дела-а, — пробормотал Бабочка. — Значит, Старикашка стареет, даже не успев толком вырасти?

Алиса испуганно посмотрела на Бабочку.

— Тут еще кое-что написано, — проговорила она.

- Что?
 - Обычно такие дети не живут дольше тринадцати лет...
- В комнате воцарилось напряженное молчание.

6.

Сереза Меньшов, а именно так звали новенького, был отказником. Когда болезнь начала проявляться, а ему тогда едва пошел третий год, родители, не задумываясь, сдали его в детский дом. И в этом его судьба была схожа с судьбой несчастного Горбуна. Поначалу врачи не обратили на ребенка никакого внимания и лишь со временем, когда ужасающие изменения стали налицо, задержались. К тому моменту маленький Сереза уже достаточно натерпелся насмешек со стороны остальных детей (то, как называл его Бабочка, было сущей ерундой по сравнению с теми словами, какими обзывали его в детдоме старшие ребята) и брезгливости со стороны воспитателей.

Когда наконец смогли поставить верный диагноз, болезнь с жутким названием «прогерия» уже зверствовала всюду, превратив его тщедушное юное тельце в сморщенный огрызок. Сереза отошал, начал больше уставать. У него пропал аппетит, постоянно кружилась голова. Диагнозы следовали один за другим: аритмия, гипертония, начальные стадии атеросклероза... Постепенно он растерял все волосы, у него резко ухудшилось зрение, начали выпадать зубы. По восемь месяцев Сереза проводил на больничной койке. Доктора лишь разводили руками: прогерия была неизлечима.

По воле случая о Серезе прознала одна благотворительная организация, начались переговоры с руководством детдома, привлечение внимания общественности, петиции и прочее в том же духе. О нем писали в газетах, показывали по телевизору. Итогом всей этой возни стало то, что Серезу регулярно таскали из одной больницы в другую, обследовали, что-то записывали в карту, кололи болючие уколы и ставили болючие капельницы, снова обследовали, брали кровь на анализ, задумчиво хмыкали себе в усы... — и так до бесконечности.

Дни же, словно раздувшиеся желтые слизни, тянулись один за другим, оставляя за собой мерзостный липкий след.

Поэтому на момент, когда его ввели в одну из палат недавно открытого отделения по исследованию редких детских патологий, Сереза уже находился на той стадии замученности жизнью, когда на все глубоко наплевать. Он не обращал внимания ни на взрослых, ни на детей, лишь смотрел куда-то в сторону окна, на серое октябрьское небо, сквозь него. Смотрел туда, где, по его представлению, находился Бог. Тот самый — то ли добрый, а может, и злой, — к которому он совсем скоро намеревался отправиться в гости.

Станный, замотанный, словно мумия, мальчишка с рубцами на бледном лице, от которого за версту несло кремами и мазями и который постоянно чесался, пришел к нему ближе к вечеру.

— Привет, — сказал этот мальчишка.

Сереза проигнорировал его. «Сейчас опять смеяться начнет», — подумал он, продолжая разглядывать сумерки за окном.

— Приве-е-т, — повторил мальчишка, глумливо растягивая звуки. — Не слышишь меня?

Он наклонился и помахал забинтованной ладонью прямо перед носом у Серезы.

— Глухой, что ли?

— Нет, не глухой, — вздохнул Сереза.

— А-а-а... Просто тут у нас есть один, он глуховат, — сказал мальчишка. — Меня, кстати, Саша зовут. Но все называют меня Бабочка.

Сереза повернул голову и посмотрел на своего не в меру приставучего соседа по палате. «Какое странное прозвище», — подумал Сереза, вспомнив, как однажды на прогулке поймал бабочку, и на пальцах осталась ее пыльца. Бабочка была яркая, такая же, как радость, например, и когда раскрывала крылья, греясь на солнышке, можно было видеть замысловатый узор, сотканный из летних красок и волшебства. Но... после того как он коснулся ее пальцами, узор стерся. Крылья стали прозрачными, блеклыми... И раздосадованный Сереза раздавил бабочку, размазал ее подошвами кед по асфальту, а потом со слезами побежал в корпус. Ему стало страшно, ведь в каком-то смысле он совершил то, что совершала в нем болезнь: он уничтожил прекрасное.

— Бабочка? А почему? — тихо спросил он.

— Ну-у, у меня кожа такая. Это болезнь — бул-лезный э-пи-дер-мо-лиз называется. Вот.

— А как это?

— А меня касаться нельзя, кожа тогда болячками покрывается. Потому вот я такой весь перемотанный.

Сереза сглотнул: в памяти навязчиво крутился тот случай с бабочкой.

— А твоя болезнь называется снеге... прогерия. Вот! Я знаю. — Бабочка весь зарделся, даже слегка выпятил грудь — настолько умным себя почувствовал. — И такие, как ты, долго не живут.

Сереза пропустил последнее мимо ушей.

— Здесь нас совсем мало, — никак не мог уговориться Бабочка. — Вместе с тобой пятеро будет. Есть Стегляшка, он мой друг. У него кости из стекла.

— Из стекла?

— Ага. Толкнешь его, и он весь сразу развалится. А еще есть Горбун, но он такой страшный, что никуда не выходит. Сидит там у себя в палате один-одинешенек. Он здесь уже давно. Его родители в детстве бросили, и еще он говорить не умеет.

Сереза внимательно посмотрел на Бабочку, сжал губы. Лишь на секунду в груди полыхнуло что-то... что-то напоминающее ярость, протест... Но все тут же прошло, остался лишь октябрьский ветер, тихо шелестящий дождем.

— А еще есть Алиса. Она как настоящий вампир. Она боится света, и у нее красные зубы. Поэтому днем она спит, а ночами бродит по коридорам...

— И что, кровь пьет?

— Не-е... Хотя не знаю, может, и пьет. Она очень серьезная. У нее есть ноутбук.

Старикашка вновь скоился на Бабочку.

— Ноутбук? Что это?

— Ну, ты даешь! — изумился Бабочка. — Это компьютер, маленький такой. С него в Интернет ходить можно. С людьми всякими разговаривать. Я там даже таких, как ты, видел... Вас всего пятьдесят с лишним, — и при этом голос Бабочки как-то странно изменился, стал более серьезным. — А я вот такой один на сто тысяч.

Бабочка отвернулся, врать он не умел, но и не похвастаться тоже не мог, потому и увеличил цифру вдвое. К тому же он свято верил, что Господь обязательно накажет его, боялся этого, но все равно не смог удержаться ото лжи.

— Ясно, — равнодушно сказал Сереза.

— Я, это... мы то есть... не против, если мы тебя Старикашкой звать будем? — спросил тогда Бабочка, но сделал это с таким видом, что стало ясно: ответ его мало волнует. Собственно, он не спрашивал, он сообщал.

Сереза ничего не ответил: старикашка так старикашка. Он уже привык.

Тут вошла медсестра и увела Бабочку принимать ванну. При виде медсестры Бабочка весь скривился, помрачнел. Но ничего другого, как подчиниться, ему не оставалось.

А Старикашка так и сидел на кровати, глядя в темноту за окном. Глядя на еще один октябрь, на еще одну осень в этом злом мире, где ему осталось совсем недолго.

7.

Ночью по коридору шастали привидения. Белые, словно свежевывстиранная простыня, полупрозрачные, они тихо подвывали, шелестя по гладкому полу своими изодранными одеяниями. Они проходили сквозь стены и двери, заглядывали в пустые палаты, как если бы чего-то или кого-то искали.

Стегляшка трясся от страха, зарывался с головой в одеяло, не желая видеть их пустых глазниц и распахнутых ртов, в которых зияла могильная тьма.

Привидения столпились возле его кровати, а одно из них даже уселось в его инвалидное кресло.

Штифт в правой ноге невыносимо пульсировал, да и все пережитые переломы мучительно ныли этой холодной октябрьской ночью, и нытье их смешивалось с пугающими шорохами осени за окном и привидений в палате. А в холле дежурная медсестра наверняка склонилась над каким-нибудь бульварным романчиком, и весь этот потусторонний ужас ее совершенно не волновал. Но в ожидании очередного предсказуемого поворота не особо интересного сюжета она, может быть, с болью думала о двух своих подопечных — детях, страдающих от жутких неизлечимых болезней. И даже второй, вечный молчун с ужасными наростами на всем теле, из-за которых он не мог лежать спать, ныне больше ее не пугал. Первый шок давно уже миновал, она смирилась и привыкла. Поняла, что ужасен не сам ребенок, но болезнь, превратившая его в такое...

Привидений она, естественно, не замечала.

А вот Стегляшка их видел, и сейчас если бы не трясся от страха, то очень бы рассердился на дуралея Бабочку, который утверждал — да еще с таким наплевательским видом! — что-де нет никаких привидений. Как так нет?! Да вот же они!

«Чертов неженка!» — злился бы Стегляшка.

В чудищ, о которых неустанно твердил Бабочка, он, напротив, не верил. Привидения — это штука такая, паранормальная, ночью есть, а днем исчезла. А монстры — им ведь и прятаться где-то надо.

Но постепенно мысли о привидениях сменились грезами о том, как бы было прекрасно вскочить и броситься бежать без оглядки. Бежать долго-долго, до тех пор, пока не наступит рассвет, до тех пор, пока не перегонишь зиму и не окажешься на пороге весны. Вечной весны — беззаботной, солнечной, яркой!

Так страх помаленьку отступал. И сон, который последнее время шел очень плохо, из-за чего Стегляшка подолгу ворочался в постели с широко распахнутыми воспаленными глазами, а засыпал лишь перед самым рассветом, наконец-то дал о себе знать.

Призраки пропали. А вместе с ними растворилась и вся больница. Стегляшка оказался в месте под названием Эквадор. Завороженный, он неподвижно стоял у черты, обозначающей нулевую широту, а потом вдруг принялся перепрыгивать с одной ее стороны на другую, тем самым пересекая целые полушария. И как это было прекрасно, как стремительно быстро! Просто прыгать, просто скакать. Там — вдали от болезни и врачей, вдали от мамы и ее запряженных в шкаф фотографии, на которых запечатлен отец, бросивший семью, когда Стегляшке едва исполнилось полгода... Там — вдали от хруста ломающихся костей и лязганья инвалидной коляски... Там — вдали от стеклянного человека...

Вдали от октября.

И, что самое странное, вдали от единственного и дорогого, любимого друга, потому что других друзей попросту не было. Вдали от Бабочки. Ведь Бабочка — это настоящая жизнь и болезни, разные, страшные. А Эквадор — там все должно быть по-другому. Все иначе...

8.

Мать, по обыкновению, позвонила ближе к полуночи.

Это было вполне нормально, так как мать допоздна засиживалась у себя на работе в мэрии, готовясь к очередным выборам (и постоянно горестно вздыхала о том, что на второй срок ее вряд ли изберут — виноватой в этом она почему-то считала дочь), и так как знала, что в это время Алиса все равно не спит.

— Привет, — сказала мать.

— Привет, — нехотя отозвалась Алиса, уставившись в ноутбук и краем уха слушая музыку. Энрике Иглесиас пел о любви.

После ухода Бабочки Алиса заинтересовалась этой странной болезнью — прогерией — и теперь мимоходом просматривала видеоблог некоего TsimFuckis, который, как предполагалось, уже умер.

— Ну как ты там?

— Нормально, в инете сижу.

— Гулять-то ходишь?

— Иногда.

— Ты не ленись гулять, свежий воздух очень полезен. Да и солнца сейчас практически нет. Осень, тучи одни.

— Да... Я знаю, мам.

Параллельно Алиса отыскала в сети американский документальный фильм об одном индусе, страдающем от синдрома Протея. Это была та же болезнь, что и у Горбуна. Правда, по сравнению с этим индусом Горбун выглядел еще более-менее сносно, не был настолько уродливым.

— Знать недостаточно, — в голосе матери зазвучали стальные нотки, — нужно еще и делать. Так что не стесняйся надевать свой костюм и выходить с остальными в парк.

Алиса со злостью глянула на висящий в углу «костюм» — настоящий космический скафандр, большой и смешной, призванный защитить от попадания прямых солнечных лучей на ее хрупкую кожу. В этом «костюме» было очень душно и неудобно. Да и смотрелся он как-то по-дурацки.

— Хорошо, мам, — пробормотала Алиса, специально сделав звук в ноутбуке погромче. Может, тогда догадается и отстанет от нее?

— Что хорошо?! — вдруг гневно крикнула мать и... тут же смолкла.

Повисла долгая напряженная тишина.

— Извини, — сказала мать наконец. — Просто достали уже все. Советчики хреновы! Говорят, чтоб я дочерью занималась, а не карьерой. Второй срок мне явно не светит... Проклятые журналисты!

Дальше шли типичные материнские стенания, и Алиса пропускала их мимо ушей, внутренне подготавливаясь к новому взрыву. А он непременно наступит. Как только мать перестанет жалеть себя, она накинется на Алису, считая дочь виновной во всех ее неудачах с работой.

Вместо этого мать лишь вздохнула:

— Будь готова на пятницу, хорошо?

— Хорошо.

И вновь мучительная тишина.

— Самолет я уже заказала, — спустя еще какое-то время сообщила мать, — в Германии тебя ждут...

— Понятно.

— То, что нам удалось разыскать донора, можно сказать, исключительный случай. Стволовые клетки из пуповинной крови — это дело такое, нешуточное. Так что нам очень повезло... Алиса, ты меня слушаешь вообще?

— Слушаю.

— Отвлекись хоть на секунду от своего компьютера, — попросила мать, — поговори со мной. Речь ведь идет о твоём выздоровлении, понимаешь? И если все пройдет удачно, ты больше не будешь так реагировать на свет. Все изменится!

Алиса закусила губу, с тоской посмотрела на сваленные в ногах журналы о моде. На них сплошь красивые девушки в дорогих платьях и украшениях. Тела их подтянуты и ухожены, смуглы от загара. Зубы же белые-белые! Знал бы кто, как Алиса мечтала стать одной из них. Вот такой же! Чтобы можно было носить короткие шорты и топики, лежать на пляже в открытом купальнике и наслаждаться лучами южного солнца... И чтобы не бояться, что ультрафиолет в мгновение ока разъест твою кожу, и тогда ты покроешься волдырями и умрешь от болевого шока меньше чем за минуту.

Алиса зашла на страничку поисковика и набрала одно-единственное слово. Слово, что являлось ее приговором с рождения.

«ПОРФИРИЯ»

— Алиса?

— Да, мам?

«Эритропоэтическая порфирия, — прочитала Алиса, — известная так же, как болезнь Гюнтера. Редкий аутосомно-рецессивный дефект, ведущий к хронической фоточувствительности, поражению кожи и гемолитической анемии. Пораженные болезнью Гюнтера избегают света, поскольку он вызывает жжение, у них имеются также выраженный диффузный гипертрихоз, рубцы и эритродонтия...»

Все это она прекрасно знала: читала уже не раз в книгах, слышала от врачей, от приглашенных специалистов, а частенько и от не сведущей в данном вопросе матери. Но по неизвестной даже для самой себя причине регулярно возвращалась к этому неточному определению в Интернете. Фоточувствительность. Боязнь света. И никуда ты, милая, от этого не денешься. Правильно смеялись над ней остальные дети: она натуральный вампир! Вся бледная, с красноватыми зубами и боится солнца. Только вот крови ей не надо, да и в летучих мышей превращаться не умеет. Она... она...

— Алиса, дочка!

— Что, мам?

— Я... я люблю тебя, — и сказано это было практически шепотом. Тихо-тихо, что даже Стегляшкины привидения не услышали бы, будь они сейчас здесь.

Алиса подняла голову и посмотрела куда-то в стену, губы ее дрогнули, на глаза навернулись слезы. Эти слова ранили сильнее, чем все упреки, которыми регулярно осыпала ее мать. Эти слова...

— И я тебя, мам...

Но в телефоне раздавались лишь монотонные гудки.

9.

Старикашка храпел. Он храпел так громко и так надрывно, как храпят настоящие старикашки. И из-за этого Бабочка никак не мог уснуть. Он ворочался (кажется, даже

свез небольшой участок кожи на поясище, и теперь там все болело и жгло), вздыхал, недобро глядел на вольготно развалившегося соседа, что-то бурчал себе под нос.

— Около пятидесяти на весь мир! Тоже мне! Подумаешь, эка важность! Это еще не значит, что можно шуметь!

Так или иначе, но сон постепенно одолевал его, и реальность этой октябрьской ночи медленно переплеталась с грезами сновидений.

Под кроватью Старикашки сидело что-то злое и страшное. Оно смотрело на Бабочку шестью парами глаз и ухмылялось зубастой пастью, из которой на пол стекала густая фосфоресцирующая слюна.

«Как же так?! — испугался Бабочка. — Ведь днем я лично проверил каждый угол, и везде было пусто. Откуда же взялся этот монстр?!»

Естественно, чудовище не ответило. Злобно пощелкивая клешнями, оно неотрывно тарашилось на Бабочку. И казалось, что вот сейчас оно выползет, пересечет комнату и вопьется в нежную кожу Бабочки. Будет рвать и терзать его, и боль будет просто адская. Такая же, как была в детстве, которого Бабочка толком и не помнил, — в памяти сохранились лишь неприятные ощущения, пронизанные болезненно-алым светом. Либо же такая, как на прошлой неделе, когда папа... когда...

...схватил за руку и с силой дернул.

Время там приближалось уже ближе к ночи, но Бабочка, усевшись в кресло, отчаянно капризничал, требуя включить мультики. Телевизор у них был лишь один, большего семья позволить себе попросту не могла (поэтому счета за медикаменты для Бабочки и за содержание его в стационаре на плановом лечении повергли родителей в шок; спасла их общественная организация помощи детям-инвалидам), и тем вечером отец намеревался посмотреть футбол. Он готовился к этому матчу неделю, и потому, когда началась трансляция, а Бабочка начал канючить, отец очень быстро утратил контроль над собой. Поначалу он просто ворчал. Потом голос его изменился, став угрожающе тихим. Последней попыткой разрешить все миром был приказ отправляться спать. Но Бабочка всячески упрямялся, ссылаясь на еще довольно раннее время.

— Нет, не пойду спать, — заявил он. — Суббота же! А в десять часов ложится лишь одна малышня.

— Нет, пойдешь, — прорычал отец.

Мать же в это время была в ванной, а потому не могла вмешаться и предотвратить назревающую катастрофу.

— Ну, рано же еще!

— Саша, я что сказал?

Бабочка не верил в серьезность родителя; впервые в жизни мальчик решил проявить силу характера.

— Нет!

В этот момент забили первый гол. Отец посмотрел сначала на экран телевизора, затем неспешно повернулся к сыну.

— Нет, значит?

Чернее тучи, он поднялся и подошел к Бабочке. В следующее мгновение руку пронзила жгучая боль, а сам Бабочка оказался на диване и тут же ощутил два сильных шлепка по заднице. Он пронзительно закричал, а когда кожа окончательно распозлась на всех затронутых грубыми отцовскими руками местах, крик его перерос в натуральный звериный визг.

Секундой позже из ванной выскочила мать — в халате, с растрепанными мокрыми волосами и мыльной пеной на щеке. Она метнулась в комнату, где застала перепуганного мужа и верещащего от боли Бабочку. Футболка у него на предплечье пропиталась кровью, сам же ребенок лежал на боку и рыдал; его била дрожь.

— Ты... ты что наделал?! — накинулась мать на отца.

— Я?.. Да я это... — бормотал тот, с ужасом разглядывая изувеченного сына.

И вот тогда забили второй гол.

С тех пор отец все время был грустный. Он старательно прятал от Бабочки взгляд, боялся даже приблизиться к нему. Что-то лепетал, даже попросил прощения. И Бабочка, по природе своей ни капельки не злопамятный, конечно же, простил любимого папу. Но отец так и не повеселел, а при последнем посещении и вовсе решил не подниматься к Бабочке в палату. Остался стоять у входа, дожидаясь возвращения жены.

Бабочка видел его из окна, видел, как отец смотрел на смеющихся в парке при больнице нормальных мальчишек. Те хвастались своими гипсами, честно заработанными во время бега по гаражам или очередной глупой игры в догонялки. Отец смотрел на них с какой-то тоской, даже с завистью.

И все то время, пока мать кудахтала рядом, выкладывая из пакета привезенные фрукты и комиксы про супергероев, надоедая вопросами об обязательной вечерней молитве и рассказывая о милости Господней, Бабочка наблюдал за отцом. Так же, как иногда по утрам наблюдал за дворником.

Взгляд отца в сторону нормальных мальчишек ранил больше, чем его руки, бьющие по попе.

Папа...

Папочка...

Чудовище под кроватью Старикашки вновь угрожающе клацнуло клешнями.

«Алиса могла бы меня понять, — подумал Бабочка, — она такая же». И в этот миг его осенила страшная догадка, он сделал, можно сказать, одно из величайших открытий в своей жизни: только эти дети, находившиеся тут, вместе с ним, и способны его понять. Как и то, что только он может понять их. Больше никто. Ни родители, ни волонтеры, ни доктора, ни журналисты. И даже Господь не в состоянии понять и осознать всю трагичность их положения, иначе стал бы он так издеваться над ними?

Что это за любовь такая, которой Господь всех любит? Никому такая жестокая любовь не нужна!

А потом темень ночи нарисовала новую волнующую картину: Бабочка и Алиса шли по улицам какого-то незнакомого города. И тут откуда-то из подворотни появлялись чудовища, наподобие того, что нынче сидел под кроватью Старикашки. Много-много чудовищ! Они разевали свои зубастые пасти, скрежетали когтями, смотрели на детей налитыми кровью глазами. И тогда Бабочка отважно ринулся на них. Он ловко увертывался от их яростных атак, бил руками и ногами по их лоснящимся мордам. Он больше не был ребенком-инвалидом, чья кожа расслаивается от малейшего трения. Он был взрослым и сильным, настоящим супергероем. И он защищал свою любовь. Да, битва оказалась не из легких, и под конец ее Бабочка стоял посреди поверженных монстров, которые вздыхали и ахали, хныкали и заливались слезами, а на его груди отпечатался след от гигантских когтей — одно из чудищ таки царапнуло его лапой.

— Тебе больно, Бабочка? — спрашивала Алиса.

— Не-а, пустяки, — отмахивался он, стирая капли крови. — Эти монстры ничего мне не сделают!

— Ты такой... такой смелый! Ох, Бабочка! — шептала Алиса, всем телом прижимаясь к нему.

— Я просто защищал девочку, которую... которую... очень сильно...

Но даже в сладкой полудреме Бабочка не мог произнести этих слов; краска залила его, он смущался, но не в силах был признаться Алисе в том, что любит ее.

Любит...

10.

Старикашка проснулся во втором часу ночи.

Ему снился какой-то мутный кошмар, где весь мир вращался вокруг пурпурного цвета воронки, и все постепенно растворялось в ней: жизнь, молодость, надежда... И даже сам он соскользнул с края и стремительно полетел в центр этой воронки, чувствуя, как кожа его сморщивается, как выпадают зубы. Он старел, старел, старел. И было очень-очень больно...

Старикашка приподнялся на локте и заспанными глазами посмотрел на похрапывающего Бабочку.

«И чего это он так расшумелся?» — нахмурился Старикашка.

Бабочка что-то пробубнил во сне, кажется, то было какое-то имя: Алиса или Анфиса... Неважно.

Старикашка откинул одеяло, слез с кровати, сунув ноги в холодные больничные тапки, и вышел в коридор. Дежурной медсестры на посту не было.

— Хм...

Где находится туалет, ему показали еще днем, но с приходом ночи и переводом освещения на ночной режим коридор таинственным образом преобразился. Он стал более глухой и пустынный, наполненный густыми иссиня-черными тенями с вкраплениями мягких бордовых оттенков. Этаким коридор из особняка ужасиков. Побродив там-сям и наконец-то обнаружив заветную дверь, Старикашка облегченно вздохнул. Ему хотелось быстрее вернуться в палату и забыться беспокойным сном, укрывшись с головой под теплым одеялом.

Когда он вышел в коридор минуту спустя, медсестры по-прежнему не было. И куда только она запропастилась?

Но дойдя до двери в свою палату, Старикашка вдруг замер. Он вспомнил, что рассказывал тот странный перебинтованный мальчик. Мальчик-бабочка. Он говорил о некоем Горбунке, который якобы живет этажом ниже один-одинешенек и не видит никого, кроме врачей, им занимающихся.

«Значит, он такой же, как я», — сообразил Старикашка, и что-то в душе у него шевельнулось.

Он воровато оглянулся на пустующий пост дежурной медсестры и поспешил к лестнице на другой этаж, стараясь при этом как можно меньше шаркать ногами.

Так уж вышло, что и на этом этаже медсестра отсутствовала — она пила чай и болтала с врачом в смотровом кабинете, — и потому некому было остановить странного сморщенного старичка с большой головой и невероятно тонкими конечностями, забредшего сюда не иначе как по ошибке.

Старикашка заглянул в одну из палат, та оказалась пустой. Затем в другую, где взгляд его остановился на инвалидном кресле, в котором расселось самое что ни на есть настоящее привидение. Недолго думая, Старикашка захлопнул дверь и с гулко бьющимся в груди сердцем поспешил к следующей палате. Лишь в четвертой он обнаружил Горбуна: странная, даже гротескная, словно бы вылепленная из пластилина неким немехой фигура темнела на одной из дальних кроватей.

Старикашка осторожно приблизился и посмотрел на Горбуна. Тот не спал, в свою очередь со страхом и удивлением рассматривая самого Старикашку.

— Привет, — сказал Старикашка. — Я такой же. Меня тоже пугаются.

Горбун промолчал.

На него действительно было жутко смотреть. Раздувшийся лоб, неровной формы подбородок, глаза запрятаны где-то в самой глубине массивного лица. Волос тоже

лобно завывало всеми игнорируемое привидение. На улице таинственно перешептывался ветер, на чьих крыльях с беззвучным смехом катались души некогда брошенных детей. А в палате Бабочки, затаившись под Старикашкиной кроватью, сердито булькал злоущий монстр. По коридорам, просачиваясь из соседнего больничного блока, стелились яркие детские сновидения. Щелкала мышкой у себя в комнате печальная Алиса, читая новые сообщения в сети от своего очередного знакомого — мальчика, занимавшегося фридайвингом и живущего в далеком-далеком южном городе, на самом берегу синего-синего моря...

— А д-д-долго н-н-нам так леж-ж-жать? — наконец спросил Горбун.
Но Старикашка ничего ему не ответил.

11.

— Дура она, эта твоя Алиса! — злился Стекляшка.
— Нет, не дура! Сам ты дурак, и не смей так о ней говорить! — взорвался в ответ Бабочка.

— А то что?

— А то!

— Что то?

— А вот увидишь!

— Да ничегошеньки я не увижу!

— Нет, увидишь!

— Нет, не увижу!

— Увидишь, и все тут!

— Так что ты сделаешь-то?

— Я... я... Побью тебя, вот что!

— Ты?

— Да, я! — Бабочка угрожающе поднял кулаки.

— Не побьешь, тебе больно будет, — усмехнулся Стекляшка.

— А тебе еще больнее...

— Эй вы, уродцы! — услышали они тут окрик и тут же оба сжались.

Двое мальчишек по ту сторону изгороди весело тыкали в них пальцами, даже швырнули пару небольших камешков в их направлении.

— Уродцы, а ведь ваш цирк уже уехал! — гаркнул один из насмешников.

— Чего ж вы тут забыли, а? — подхватил другой.

Бабочка со Стекляшкой утаивались в землю, стараясь не обращать внимания на столь обидные выкрики.

— Эй, шпана малолетняя, а ну брысь отсюда! — вмешалась тут медсестра, которая следила за детьми во время прогулки. — Дуйте в свое отделение, иначе начальнику на вас пожалуюсь, тут же выпишет.

Насмешники развязно поулыбались и неспешно побрели прочь.

— Вы их не слушайте, ребятушки, не обращайтесь внимания, — посоветовала медсестра. — Пусть хохочут, вам-то что?

Бабочка со Стекляшкой хмуро кивнули на ее слова и переглянулись. День выдался теплый, но пасмурный. По небу ползли тяжелые свинцовые тучи, но ветра практически не было. Как и листьев на деревьях.

— Ненавижу осень, — наконец произнес Стекляшка. — Гадкое время!

— Ага, я тоже ее не очень люблю, — поддакнул Бабочка. — Я лето люблю. Но осень для меня лучше. Кожа не так чешется, да и болячек меньше.

— У меня не бывает болячек, — сказал Стекляшка. — И я лето тоже люблю. Но... — Он замаялся, с надеждой посмотрел на своего единственного друга. — Летом хочется что-

то делать. Мастерить, там, путешествовать. А мне никак. У нас пацаны в футбол гоняют, через костры прыгают, чужие грядки грабят, купаются... А я? Сажу дома и смотрю в окно. А если выйду на улицу, то тут же начинается, как вон с этими, — и он кивнул в сторону изгороди.

— Угу, — понимающе вздохнул Бабочка. — У меня примерно так же.

— И ведь обидно!

— Обидно.

— Знаешь, — Стекляшка посмотрел на друга, — я в журнале однажды вычитал, будто можно ехать по миру так, что ты всегда будешь попадать на весну. Круглый год весна, представляешь? Нужно только правильно выбрать время и знать, в какой именно город ехать.

— Как это? — удивился Бабочка. — Весна круглый год? Такого не бывает!

— Бывает, в журнале же написано. Едешь по миру, и всегда весна. Вот это здорово! Вот об этом я и мечтаю. Куда-то на запад, прочь от октября...

— И от больницы подальше...

— И от себя самого.

Они надолго замолчали.

— А расскажи еще раз, — наконец попросил Бабочка, — как умер Старикашка?

Стекляшка тут же весь оживился: как-никак, это была самая интересная из его историй. И самая необычная. Он бы с радостью поведал ее всему миру (одному только Бабочке он рассказывал ее уже раз десять, не меньше), но, увы, пока что мир сводился всего лишь к паре-тройке людей, с которыми он общался и которые уже были сыты этой историей по горло. Взрослые изначально были вне доверия, и им Стекляшка ничего рассказывать не собирался. Глупая Алиса слушать его историю не желала (дура! — правильно он ее обзывал), а Горбун с того раза стал еще молчаливее и равнодушнее ко всему вокруг.

— Так вот, — начал Стекляшка, — той ночью ни с того ни с сего в коридоре началась какая-то суета. Все старательно искали этого Старикашку. Пропал он. А своими разговорами они и меня разбудили... Кстати, в палате таки были привидения!

— Да нет никаких привидений!

— Нет, есть!

— Ладно, забей, — пренебрежительно отмахнулся Бабочка. — Что там дальше-то было?

— Значит, — продолжил Стекляшка, — привели они этого Горбуна ко мне — ну и страшный же он! — и усадили на свободную кровать. Сама медсестра бросилась обратно в коридор. Что-то там творилось. Я же перебрался в свое кресло, направился следом.

— И?

— В общем, Старикашка оказался в палате Горбуна. Вокруг него толпилась куча врачей, привезли аппарат, каталку. Когда я подъехал к палате, они уже накрывали Старикашку простыней. Что-то там с сердцем у него случилось.

— И ты видел настоящий живой труп? — Бабочка задавал этот вопрос каждый раз, как слышал финал этой истории. Он даже похвастался таким Стекляшкиным достижением, когда пересказывал все случившееся Алисе. Но как ни странно, к этому достижению она осталась полностью равнодушна.

— Конечно! — гордо заявил Стекляшка. — Холодный такой, бледный. Лежит себе на каталке и не шевелится.

— Вот здорово!

Правда, был у этой истории один нюанс, о чем Стекляшка, напротив, решил никому никогда не говорить. Что-то нашептывало ему, что делать этого ни в коем случае нельзя, что он попросту не имеет права.

Когда он подъехал к палате, врачи толпились возле Старикашки и о чем-то вполголоса переговаривались. «Сердце у него остановилось, — сказал один из них. — Это все болезнь». — «И что? — спросил другой. — Мы должны, мы обязаны...» — «Не надо, — покачал головой первый. — Парнишка достаточно уже натерпелся, свое выстрадал, пусть уйдет». — «Вы понимаете, что это подсудное дело? — нахмурился второй врач. — Так ведь нельзя!» — «Геннадий Сергеевич, думаю, в этот раз можно, — спокойно сказал первый. — Вы сами знаете, что это за болезнь. От нее нет лекарства, и мы просто оттягиваем срок. Парнишка ведь отказник, у него из родных никого, некуда ему возвращаться. Подумайте об этом. Быть может, это и есть... ну, тот самый случай, когда приходится выбирать между долгом и состраданием». — «Нет, — покачал головой первый, — мы не вправе принимать такие решения, нельзя...» — «И все же именно мы сейчас решаем, что с ним будет дальше». И тогда первый врач сдался. Он посмотрел на всех присутствующих, заглянул им в глаза, в души и понял, что они придерживаются того же мнения: мальчика стоило отпустить.

А в следующий миг врач обернулся и посмотрел прямо на Стекляшку.

«Ох, и достанется же мне!» — испугался Стекляшка. Но врач не увидел его, он смотрел словно бы сквозь него. Остальные же и вовсе отвели глаза в сторону. «Хорошо, — вздохнул врач. — Зафиксируйте время смерти...»

Стекляшка не совсем понимал, что именно произошло той темной ночью, но интуитивно догадывался, что поступок врачей был правильным. Что бы они там ни сделали, сделано это было не по злости или наплевательству, наоборот, на какой-то краткий миг они словно почувствовали боль Старикашки, его отчаяние. Они позволили ему уйти. То было исключительно их решение, с которым они будут жить дальше. И он, Стекляшка, не имел никакого права трепаться об этом направо-налево.

И чуть позже, лежа в своей постели, Стекляшка пришел к выводу, что ему хочется... он желает... В общем, когда настанет тот самый день, пусть эти же врачи будут рядом. Пусть именно они принимают решение.

— Завидую я тебе, — сказал Бабочка. — Целого трупа видел.

— А знаешь, мне... — Стекляшка помедлил, — мне даже жалко этого Старикашку. Он все-таки умер.

— Ну-у, — Бабочка пожал плечами, — умер и умер, что с того? Все мы рано или поздно умрем.

Поднялся ветер, и с неба упали первые капли дождя.

— Все, ребятки, пора возвращаться, — поежилась медсестра. — Сейчас у вас обед, а дальше тихий час.

По идее, медсестер должно было быть две, по каждой от отделения. Но поскольку детей было мало, решили, что в целях экономии времени гулять с ними будут по очереди.

— Знаешь, что странно? — сказал Стекляшка.

— Что?

— Я об этом тебе еще не рассказывал, только сейчас вспомнил.

— Так что?

— В общем, Горбун. Наутро, когда меня разбудили к завтраку, он сидел на кровати и ревел. Представляешь? Ревел, прям как девчонка какая-то!

— И что?

— А потом посмотрел на меня и сказал...

— Сказал?! — воскликнул Бабочка, пораженный такой новостью еще больше, чем смертью Старикашки.

— Ага, говорить он все же умеет. Так вот...

— Ну и что он тебе сказал?

- Он сказал: «Сергеа выиграл».
- Сергеа выиграл?
- Ага.
- Чушь какая-то! И что это значит?
- Откуда мне знать? — пожал плечами Стекляшка.

И для них так и осталось тайной, что эти слова Горбун произнес без заикания. Он выговорил их чисто, со всей болью, какую испытывал в тот момент.

12.

Алиса уезжала нынешним вечером, аккуратно перед выходными. Уже были собраны вещи, подписаны все необходимые бумаги, сама же Алиса, вся разодетая и замотанная, в кепке и солнцезащитных очках, стояла в коридоре, дожидаясь, когда мать наговорится с докторами. Несмотря на то, что на улице густились сумерки, Алису все равно старательно укрывали от коварного света. Может, потому, что в далекую Германию (а Бабочка не совсем представлял, где именно это находится) она прилетит уже завтра днем? А может...

Может, может...

Бабочка ходил взад-вперед по палате, и руки его под несколькими слоями повязок жутко чесались. Но он даже не заметил, что уже расчесал их до крови, и продолжал расчесывать дальше. Как ни крути, а физическая боль не имела никакого значения; она попросту не могла сравниться с тем, что творилось у него в душе.

- Чего ты такой? — во все глаза уставился на друга Стекляшка. — Весь же извелся!
- Да отстань ты! — огрызнулся Бабочка.

Он хотел было выйти в коридор попрощаться и, может быть, даже вполне возможно, сказать Алисе те заветные слова, что так долго таил от нее, от себя, от всего мира. Может быть... Увы, коварный медперсонал запер дверь, решив не выпускать их, дабы, не дай бог, они не попались на глаза Алисиной матери — большой шишке в городе, целому политику.

Всего этого Бабочка откровенно не понимал. И если бы Стекляшка не притаился к нему заранее, сразу после массажа, то сейчас бы Бабочка и вовсе сидел в палате один. Так сказать, сходил бы с ума в полном и беспросветном одиночестве.

— Чего ты так прицепился к этой девчонке? — не унимался Стекляшка. — Пусть едет, куда вздумает. Ей повезло, совсем скоро будет здоровой, будет бегать по улицам и... — он было умолк, но потом все же решил договорить: — И будет смеяться над тобой, как все остальные. Она станет нормальной, а ты так и останешься вечным Бабочкой.

— Прекрати! — рявкнул Бабочка. — Алиса не такая! Она знает, каково это — болеть. Она понимает.

— Ну, вот и перестанет понимать, забудет. К хорошему ведь быстро привыкаешь.

Бабочка подошел к окну и выглянул на улицу. Солидная черная иномарка преданно ожидала Алису чуть ли не у самого входа в корпус. И совсем скоро эта иномарка умчится прочь, скроется в октябрьском сумраке и навсегда увезет Алису.

Навсегда.

— Странный ты, — посмеялся Стекляшка.

Бабочка повернулся и страдальчески глянул на друга. Что-то в Бабочке разительно изменилось, и, обнаружив эту перемену, Стекляшка резко замолчал, пригляделся, а потом, пораженный до глубины души, воскликнул:

— Да ты влюбился никак?

Открытие было чудовищным, ужасающим по своей разрушительности. И вместе с тем оно разом расставило все по своим местам. Стекляшка ощутил укол ревности,

руки его сжались с такой силой, что он услышал, как угрожающе щелкнули суставы. Пальцы заныли. Ревность вылилась в глухую бессильную ярость — вот-вот, и он потеряет друга насовсем. Но боль в руках сделала свое дело. Стекляшка осторожно разжал кулаки: словно бы отпустил ярость, как бойкую, колючую и очень горячую птицу. От себя отпустил. И когда ярость упорхнула, осталась только обида.

Стекляшка отвернулся.

— Нет, — сказал Бабочка, в замешательстве скосившись на друга.

— Да, — вздохнул Стекляшка. — У тебя ж, балда, на лице все написано. Все-все написано!

Бабочка опустил голову. Рассказать другу о таком позоре было невыносимо, и вместе с тем где-то на периферии сознания он понимал, что нет в этом ничего невыносимого. Если не Стекляшке, то кому еще об этом рассказывать? С кем еще поделиться столь волнующей новостью?

— Значит, влюбился, — прошептал Бабочка и вновь повернулся к окну.

Стекляшка посмотрел на его спину. Ревность постепенно проходила. Она была такой же недолгой, как зависть самого Бабочки, когда Стекляшка сообщил ему о том, что видел труп и слышал, как разговаривает Горбун, — лишь мимолетный отголосок взрослой жизни. Жизни, что, может быть, и вовсе их не коснется. Впрочем, они уже и так повзрослели, просто сделали это иначе. Как если бы болезнь открыла им некий тайный проход сквозь года. И в то время как остальным требовались десятилетия, чтобы почувствовать себя взрослыми, обрести должный опыт и обзавестись мудростью, они приходили к этому за пару месяцев боли, страданий и унижений, которым подвергал их мир.

И при этом они по-прежнему оставались детьми.

— И что, правда любишь? — тихо спросил Стекляшка.

— Ну-у... да.

— Прямо настоящей любовью?

— Наверное...

— А чего раньше молчал? Ты ж к ней частенько в гости заходил, под любым предлогом ошивался возле ее палаты.

— Не мог. Боялся... Блин, да сам посудите!

— Ладно, — Стекляшка махнул рукой.

В коридоре послышались шаги. Это мама Алисы попрощалась с врачами, поблагодарила их за добродушные пожелания и все прочее и повела дочь к выходу.

— Что делать-то? — тихо спросил Бабочка, с трудом сдерживая слезы.

— Остается только одно, — так же тихо ответил Стекляшка.

— Что?!

— Бежать, — твердо сказал Стекляшка. — Бежать так, словно гонишься за своей мечтой.

— Мечтой?

— Ну да. Алиса ведь твоя мечта?

Бабочка ничего не ответил.

— Значит, беги так быстро, как можешь, — велел Стекляшка. — Беги, словно убегаешь от своей болезни и от осени за окном!

— Но... я не понимаю.

— Я покажу тебе.

И тут произошло нечто странное: Стекляшка вдруг впился руками в подлокотники своего инвалидного кресла и... попытался встать на ноги.

— Бежать лучше из положения стоя, — произнес он, кряхтя и обливаясь потом. В глазах же читались страх и решимость. — Как за мячом, который катится впереди тебя, ког-

да за спиной вражеская команда. Ты постепенно набираешь скорость и держишь темп. Ты с силой отталкиваешься ногами от земли.

Бабочка весь заволновался.

— Эй, ты чего? — пробормотал он. — Сядь обратно.

Но Стекляшка уже стоял. Он оттолкнул кресло, при этом едва не потеряв равновесие, но сумел-таки удержаться на ногах.

— Тебе ж нельзя! — запротестовал Бабочка.

— Да все мне можно! Я на занятиях по физре и не такое вытворяю, — зло усмехнулся Стекляшка. — Но ты слушай дальше. Время уходит, а тебе нужно приготовиться, слышишь? Сейчас мы побежим. Вместе побежим. За Алисой.

И с этими словами он сделал один нетвердый шаг, затем другой, третий... а затем вдруг рванулся вперед. Конечно, не так быстро, как хотел бы, но достаточно для того, чтобы на миг ощутить себя сильным, ловким, здоровым. Лишь на миг — целая вечность глазами ребенка, неспособного ходить.

И у самой двери ноги его подкосились, раздался хруст. Стекляшка вскрикнул — больше от неожиданности, чем от боли — и рухнул на пол...

— Да беги же ты, болван! — рявкнул он. — За мечтой надо бегать — быстро и смело!

— Но...

— Беги!

И тут Стекляшка начал пронзительно кричать. Минуту спустя палата кишмя кишела врачами, которые окружили распростертого на полу Стекляшку, принялись ощупывать его ноги и о чем-то взволнованно переговариваться. Медсестра тяжело вздохнула и выскочила в коридор за каталкой, оставив дверь нараспашку.

И тогда Бабочка все понял.

Он осторожно обогнул врачей, кинул последний взгляд на побледневшего Стекляшку и выскользнул в коридор. Оказавшись на свободе, он помчался со всех ног.

К лестнице.

Вниз по ступеням, хватаясь руками за перила, не обращая внимания на жгучую боль в ладонях. Ведь к мечте нужно бежать быстро, не останавливаясь!

На первый этаж, мимо удивленного доктора.

К выходу.

На улицу, в холодную ночь, в октябрь...

13.

Стекляшку перевели в отделение интенсивной терапии. Его замотали всего бинтами, замазали гипсом и уложили на кровать с какими-то непонятными приспособлениями в виде пропущенных сверху стальных лесок и свисающих на их концах гирь. Им занимался целый штат врачей, а его мать с раннего утра и до поздней ночи добросовестно рыдала у его кровати.

Как ни странно, сам Стекляшка теперь гораздо чаще улыбался, нежели хмурился. Он листал единственной здоровой рукой очередной выпуск журнала «Вокруг света» и предавался грезам о далеких странах, что по-прежнему манили его. Но былой злости на собственную беспомощность в нем больше не было. Так или иначе, но он доказал, что способен на многое, и даже не столько ради себя, сколько ради друга. Ради мечты друга! Он показал Бабочке то, что хотел показать, и Бабочка правильно его понял.

Настоящий друг! За такого и умереть не жалко...

Правда, умирать лучше не сегодня. И не завтра. И не на следующей неделе. Умирать лучше когда-нибудь потом — через много-много лет. Ведь Стекляшка еще не сделал

подобного отчаянного шага в погоне за собственной мечтой, и, все так же страдая ночами от бессонницы, выслушивая стоны привидений в коридоре, сказки ветра за окном и сладкую музыку сновидений в небе, он точно знал, что шаг этот будет твердым и решительным. Ничего еще не закончилось, только не в этой жизни!

Бабочка же теперь жил не один в палате. К нему подселили еще двоих — какую-то мелочь пузатую с таким же, как у него, диагнозом. Эти двое, как новорожденные котята, жались по углам и с ужасом следили за каждым новым человеком в белом халате. Бабочка их прекрасно понимал. Когда-то он был точно таким же — напуганным, затравленным. И потому Бабочка пытался разговаривать с ними, давал советы, смешил их, в общем, как говорится, взял шестие. Порой он даже пугал эту мелюзгу ужасным чудищем под кроватью. Но... почему-то они больше верили в привидений, нежели в монстров.

К Стекляшке Бабочка таскался чуть ли не каждый день. Естественно, тайком от врачей. Он пересказывал Стекляшке события минувшего дня: о новеньких Бабочках, о Горбуне, который теперь стал куда более разговорчивым — ну и заикается же он! — и начал изредка выходить в коридор, бродить там-сям. А один раз даже до глубокого обморока напугал новенькую практикантку, подкравшись к ней ночью и попросив стакан воды — так, шутки ради.

Стекляшка улыбался, просил не смешить его, так как при падении он сломал несколько ребер и теперь во время смеха ему делалось больно.

А по ночам Бабочка все так же неустанно следил за монстром под кроватью, слушал ветер за окном и звуки двигателей проносившихся по шоссе автомобилей. Порой он размышлял о том, как бы наладить отношения с отцом... Наверное, стоит извиниться? А может, и не надо.

И ведь когда-нибудь обязательно наступит зима! Бабочку выпишут из больницы и отправят домой, так как раны на руке и попе уже практически затянулись, остались лишь мелкие пузыри, но с ними вполне можно справиться и в домашних условиях. Зима обязательно выдастся холодной, с Новым годом и подарками...

А там дальше — весна.

Частьенько он размышлял и о поступке Стекляшки, как и о том, что сказала ему тем памятным вечером Алиса. Она вернется — здоровая или нет, но вернется. И обязательно навестит его, будь он здесь, в больнице, или же у себя дома. И все это время ее мать — большая шишка в городе, целый политик! — нахмурившись, стояла у машины и всячески старалась не смотреть в их сторону. Но Бабочке на это было плевать. Главное — Алиса! Главное — то, что наконец-то удалось поговорить с ней!

Даже признаться ей!

То был его личный подвиг. Но ведь помог ему в этом Стекляшка — друг, ставший наставником, показавший, что рановато еще отчаиваться. Да, в тот вечер Стекляшка действительно доказал многое. Свою силу, уверенность, непокорность...

И этим он как бы открыл им всем дорогу к иному будущему.

Например, к Алисе.

И Бабочка засыпал довольный, на все сто уверенный, что если булькающая тварь решит-таки выбраться из-под кровати, то он увесистым пинком загонит ее обратно. Теперь он чувствовал в себе силы на это. Он больше не боялся.

И если по какой-то причине Алиса вдруг не вернется, у него хватит мужества, чтобы отправиться за ней следом — в Германию. Отправиться на запад, подальше от октября...